

ПРАЗДНИКИ СВЯТОГО БЕРНАРА

Отряхивая налипший снег и притоптывая, раскрыл дверь в свою городскую квартиру — и тут же увидел его. Он жил у нас третий день.

Меня носило по городам, и семья умолчала о появлении нового жильца — щенка сенбернара, который не имел ещё тогда имени: оно пока не приходило.

Щенок лежал посреди квадратной, с высокими потолками, прихожей.

Он уже пересчитал всех домашних и обжился, а тут я — большой, пахнущий холодом, накрутивший на свою шубу сорок дорог.

Заскользив и расплзаясь в стороны неловкими ещё лапами, он поспешно отбежал в угол, где, усевшись спиной к стене, уставился на меня: «Ты кто?».

— Это что ещё за шмель? — спросил я, не сдержав улыбки.

Он был пушистый и чуть нелепый, как шмель: рыжий, летний, безобидный.

Я полюбил его с первого взгляда.

— Шмель! — закричали дети. — Шмель!
Так у него появилось имя.

* * *

Вскоре мы приняли волевое решение: отправиться жить в деревню, где у нас имелся двухэтажный, насуспенный, скрипучий домик на покосившемся фундаменте — зато с настоящей печью.

Шмель, помнится, лежал поверх огромных тюков и сумок в багажнике нашей большой вездеходной машины, растерянно глядя в затылки детям и ожидая, когда к нему обернутся: я видел зовущее выражение его глаз в зеркале заднего вида. Время от времени он предпринимал решительную попытку перебраться к людям на задние сиденья, но его весело загоняли детскими ладошками на место.

Добравшись, мы долго таскали эти тюки, наполняя старые шкафы новой жизнью, а Шмель носился туда-сюда, громко топоча по полу и ликуя обилию застарелых, добрых, терпких запахов.

На следующее по приезду утро, усадив детей в машину, взметая снега и разноголосно крича на ухабах, мы прорвались вглубь сияющего, как накрытый для самого долгожданного гостя стол, леса.

Раскрыли багажник и вынесли его, нетерпеливого и оглушённого счастьем. Даже щенком он был увесистым парнем.

Небосвод обрушился на него всей своей торжественной благодатью.

Я бережно поставил его в снег — и он тут же, вшибаясь грудью в сугробы, неистово устремился вперёд. Прыгая, всякий раз утопал до самого носа. Это удивляло его — но, собравшись, он тут же делал новый рывок.

Так выглядит счастье: маленький Шмель на лесной поляне под хохот детей пытается преодолеть сопротивление ослепительно снежного мироздания.

* * *

Наискосок от нас жил старый пчельник.

Когда-то, лет сорок назад, он, рано постаревший мужик на шестом десятке, вдовец, имевший приёмную дочь и двух внуков, смертельно заболел — и решил умереть в лесной тишине, подальше от города.

Он был совсем слаб — и его дочь, молодая ещё баба, оставив двух сыновей на мужа и бросив работу, перебралась за ним вослед.

Все думали: дед протянет месяц, ну, два — больше врачи ему не давали от всех щедрот, — и тогда б его дочка вернулась к детям и восстановилась на работе.

Но дед тянул да тянул.

Вытянул три месяца, потом целый год — хотя всё ещё казался слабым, вдыхающим предпоследнее своё дыханье.

Всякий раз, когда дочь порывалась уехать, дед с ней прощался навсегда и ложился на печь, прося натопить как следует: «Во сне и отойду — хоть не сразу окоченею».

«Ну, ещё одну весну», — решила дочка, прожив так вторую весну, второе лето, вторую осень, а потом и очередную зиму.

В третью весну под присмотром деда она засадила огород.

Ел дед теперь только капусту и свёклу.

Тогда же старший сын его приёмной дочери закончил школу, и дочка задумала остаться насовсем. Пообвыкнувшись существовать со стариком посреди густого леса, решила: некуда теперь спешить — младший уж как-нибудь доучится.

На следующий год оживший дед решил развести пчёл.

С тех прошли несчётные годы.

Иногда пчельник, опираясь на крепкую, древнюю почти как он сам суковатую палку, проходил по деревне. Ни на кого не глядя, резким голо-

сом дед вдруг почти выкрикивал отдельные фразы, как бы вырванные из обширной, но неизвестной нам речи.

Быть может, он говорил со своим прошлым.

В ту зиму, когда в деревне появился Шмель, умерла его приёмная дочь.

Дед остался жить дальше. Ему было примерно девяносто пять лет, и уже полвека дед никуда не спешил.

Время от времени сталкиваясь с ним на улице, я так и не смог рассмотреть его толком: с тем же успехом можно было попытаться запомнить рисунок древесной коры.

Почерневший, но с всклокоченными белыми бровями, дед был преисполнен временем.

Лицо его пересекали несколько чёрных вен, похожих на удары плетью. Рот был завален внутрь. Уши, напоминавшие волглые осенние грибы, мохнатились в раковинах серебрившейся на солнце паутиной.

* * *

Помимо пчельника, нашу малолюдную, затерянную в глухих лесах местность населяли следующие граждане.

Ближайшим соседом был Никанор Никифорович: наши дворовые постройки примыкали к его забору, но мы почти не виделись — зато слышали друг друга каждый день.

Лет ему было не менее пятидесяти, он был в меру пузат, несколько кривоног, держал собак и пропадал на охотах. Рыбачить тоже любил: ловил и на сеть, и на удочку, и многими иными хитрыми приспособлениями, но всегда один.

Раз видел, как он тащит два мешка рыбы: хмурый и торопливый, как тать.

Смотрел Никанор Никифорович всё время словно искоса, прищуренным взглядом, с пол-оборота, отчего возникало ощущение, что у него флюс, который он прячет.

При разговоре жестикулировал, как южный человек. Если что-то ему приходилось не по нраву, сразу повышал голос, и кричал как контуженный — будто сам себя не слыша.

Порой я становился невольным свидетелем, как он, то ли с кем-то, невидимым мне за его забором, то ли, скорей, сам с собой обсуждает соседей. Все соседи были, на взгляд Никанора Никифоровича, не вполне хороши.

Любую пойманную соседями рыбу он воспринимал как свою, уворованную у него. Всякая новая соседская постройка тяготила ему взгляд.

Молодых, в соку, женщин не выносил на дух, почти клокоча от раздражения: «...туда идёт, жопу несёт свою! Сюда идёт! Жопу несёт!». Это звучало так, словно женщина носила туда-сюда лукошко, полное яблок из его, опять же, сада.

В сущности, он был хороший мужик — если с ним не связываться.

Большинство деревенских держались от него подальше.

Никанор Никифорович имел жену. Жена наезжала к нему раз в месяц, а то и в три.

Через дорогу от Никанора Никифоровича проживала с двумя душевнобольными дочерьми Екатерина Елисеевна — удивительной доброты бабушка, которой неизвестно за что выдали скорбную судьбу. Сама она была совершенно нормальна: молещица и труженица, безропотно несшая свой крест. Дочки унаследовали болезнь по линии её мужа — при том, что и он был вменяем, только молчалив. Однако мужнин, что ли, прадед в стародавние времена страдал манией, лечился, не выправился и через поколение перекинул свой недуг.

Дочки были дебелые, заинтересовавшись чем-то — смотрели, пристыв, птичьими глазами, не любили громких звуков, летом пили во дворе чай, зимой, случалось, катали снежную бабу, потом громко ссорились из-за пустяка, и бабу побивали на куски. В конце концов одна из дочерей падала на снег и начинала рыдать, как маленькая, вызывая из дома Екатерину Елисеевну.

На краю деревни жил двадцатипятилетний пьяница Алёшка со своей матерью, лежачей больной, которой я никогда не видел.

Несмотря на свой возраст, вид Алёшка имел опойный и жалкий. Печень его уже не справлялась со всей той самогонкой и прочей отравой, что он при всякой возможности заливал в себя. С утра и вечером, весной и осенью Алёшкино лицо было безобразно распухшим.

В соседней деревне располагался сельмаг — единственный на весь наш, в сотню вдоль и наискосок вёрст, лес. Ежеутренне, не имея ни рубля в кармане, Алёшка шёл туда и неутомимо побирался, докучая очереди. Время от времени его били, и он возвращался с окончательно заплывшим глазом, или надорванным ухом, или волоча за собой куртку с единственным рукавом, а второй остался у магазина, и его таскали с места на место собаки.

Через три пустых старых дома от Алёшки жили муж с женой по прозвищу Слепцы.

На самом деле слепым в их паре был только отец семейства, а жена — вполне себе зрячей, однако деревенские определили их так в том числе и потому, что Слепцы всегда ходили вместе, а порознь их никто не встречал.

Лет десять назад муж начал катастрофически быстро терять зрение, и они решили съехать сюда, чтоб не слишком тяготиться трудным недугом среди многочисленных людей. Завели себе коз, и зажили крепкой, но очень тихой жизнью. Казалось, что вместе с мужниным зрением они оба потеряли и голоса. На уличное приветствие жена отвечала глубоким кивком, а муж как гусь вытягивал шею и поворачивал голову из стороны в сторону, словно надеясь почувствовать запах встречного человека.

В сельмаге жена указывала на необходимые продукты, не называя их, а муж традиционно стоял рядом, очень прямой, и словно бы смотрящий поверх людей. Сильными руками он крепко сжимал свой посох: несмотря на то, что жена водила его под руку, он всегда еле-еле простукивал посохом пространство впереди.

Самым новым жителем нашей деревни был отставной прокурор — в одно лето он отстроил себе двухэтажный кирпичный дом и зажил обособленной жизнью со своей супругой.

У прокурора имелось шесть собак, из них четыре охотничьих. Охотничьи сидели на привязи, и лаяли иной раз часами. Две другие его собаки, какой-то кудрявой породы, похожие на весёлых баранов, бегали по деревне. Я поинтересовался как-то у всезнающего Алёшки, отчего прокурор не держит собак во дворе. Алёшка поделился знанием:

— Прокурор сказал: этой породе положено расти на воле.

— Прокурору видней, — согласился я. — Кого на привязи держать, кого на воле.

У нас была хорошая деревня, хоть все названные и не слишком дружили друг с другом.

Остальные её жители наезжали время от времени, чаще всего летом и на большие праздники. Мы же тут находились всегда.

Лес вокруг нас стоял сосновый, строгий, тёмный.

В лесу жили звери. Зверей было много больше, чем нас.

Мы были уверены, что живём на краю заповедника. В свою очередь, звери могли думать, что обитатели заповедника — это мы.

Чёрными вечерами большой лось выходил на другой берег маленькой лесной речки, протекающей по самому краю нашей деревни, и смотрел, как подрагивают редкие огоньки в нескольких окнах.

* * *

За год Шмель вымахал в огромного пса, а к двум был выше всякой встречной собаки самых крупных пород.

Шмель любил всё живое вокруг, даже котов.

К другим собакам у него не имелось никаких претензий, а при случае он был не прочь подурачиться с ними.

Но более всего его тянуло к людям.

Он источал нежность, изнемогая от желания познакомиться или возобновить прежнюю мимолётную дружбу. Все без исключения деревенские обитатели были для него желанными товарищами.

Под самый конец декабря в том году на небе как мешок развязался: снег валил лохматыми хлопьями.

В первое январское утро я едва смог открыть дверь. Крыльцо, перила, двор, крыши построек были пышно укутаны.

Шмель беспробудно спал посреди двора — вольера для него у нас ещё не было.

Сам он, однако, был жарок настолько, что снег на нём истаивал, и лишь слабая изморозь тлела на щеках, а бока припорошённо серебрились.

Мы вытоптали с детьми несколько необходимых нам тропок. Загнав сыновей на крышу сарая, я скомандовал хоть немного разгрести там — а то крыша не выдержит тяжести.

Но только они вошли в раж — снег с утроенной силой посыпал снова: рукой махнёшь в воздухе — и по пути готовый и крепкий снежок набираешь.

— Отбой, — скомандовал я.

Шмель продолжал спать.

Видно, решили мы, в новогоднюю ночь было слишком шумно. Нахватавшийся впечатлений пёс видел во сне звёзды, бегущие врассыпную от весёлого грохота, и еле заметно трепетал хвостом.

...На другое утро я застал Шмеля в том же виде. Пёс безмятежно похрапывал, но я всё равно растолкал его, чтобы проверить, в порядке ли он. Шмель тут же принялся целовать меня, а следом и всех остальных.

Но третий день он тоже, в целом, проспал.

А потом — четвёртый и пятый. И на шестой тоже едва нёс на прогулке огромную башку.

Разгадку его беспробудной январской неги нам ещё предстояло узнать.

* * *

Как только закрывали двери и тушили свет, Шмель по огромному сугробу взбирался на крышу сарая, а оттуда спрыгивал в такой же сугроб — на улицу.

Деревня манила и ждала его, стелясь запахами, зазывая звоном посуды и голосами людей.

Уверенной трусцой он двигался по деревне, чувствуя себя сусальным ангелом с ёлки, хоть и подростком.

Разбираться с дверями и засовами Шмель обучился ещё в детстве. При встрече с любой преградой он попеременно использовал уже привычные ему навыки: надавить лапой ручку, поддеть приоткрывшуюся дверь когтями, а затем — носом. Либо, не слишком разбегаясь, а просто на ходу, боднуть дверь головой. Мягкий удар этот, при всей, казалось бы, неспешности Шмеля, обладал восхитительной силой.

Первым на его пути оказался дом Екатерины Елисеевны; в окнах его слышался женский смех, а пахло так, что у Шмеля закружилась голова.

...Сначала раздался стук калитки на улице — «...кто это?» — спросила удивлённо бабушка Екатерина. — Алёшка, что ли?..», — затем скрип раскрываемой двери...

...Несчастные дочери Екатерины Елисеевны, не разобравшись в полутьме, вскочили на стулья и заверещали. Сама бабушка сидела к дверям спиной. Привыкнув к шумной дурости дочерей, она ожидала увидеть Алёшку в дурацком наряде, и никакого иного зла не ждала — что ещё могло быть злей её обрушенной жизни...

Но увидела — огромную снежную башку зверя.

Мощным хвостом Шмель сбивал подвернувшегося ребёнка с ног — что ему в тот вечер были предметы обихода, совки и метёлки, а также стоящие по лавкам вёдра и салатницы? Всё это шумно посыпалось и отчасти разбилось.